



## 1. НА КРАЮ ВЕСНЫ

Пыхтя, тяжело дыша сквозь маску, непривычно же ещё, сколько времени-то не носил, Тыкулча выходит в первый шлюз. Разворачивается, тщательно запаковывает дверь, вталкивает её в разбухший проём, распикивает по щелям ватные комки, паклю, мох, даже какие-то огрызки поролона, откуда он тут, непонятно. Берёт из угла ведро со смолой, промазывает поверх, аккуратно, не торопясь. В камере тепло, вода ещё вода, разве что корочка на ней, и холоднее не станет; у Тыкулчи два часа до предрассвета, времени хватит на всё. Ещё же огонь на стоке разводить, тоже мне радость.

Закончив, он пыхтит, трёт лоб и распечатывает дверь второй камеры — толстую, деревянную, двухслойную, с воздушной подушкой между промасленными досками. Разрезает застывшую смолу ножом, с трудом, смола тянет, вяжет, лезвие соскальзывает, Тыкулча усердно сопит, он сосредоточен и зол. Нельзя быть добрым, подбробнее на секунду, и затянет тебя, заохлодит, заснёшь — станешь если не Стеклом, так льдом, а какая, по сути, разница, смерть и есть смерть, так что злись, злись. Тянет за деревянную рукоять, вырывает дверь, вытаскивает из законченного проёма. На него дышит холодом — за дверью,

в камере, много холоднее, была бы влага — были бы сосульки. Шесть месяцев никто не проходил второй шлюз, никто не проверял, как там внешняя дверь — может быть всё что угодно. Может, туда пробралась вода, принеся с собой лёд, и всё, наружную дверь можно только разрубить, никаких других путей, бери топор, ломай построенное. Или приморозило так, что и топор не поможет, тем более снаружи шесть метров снега, будешь сидеть тут до поры, покуда второй разведчик не забеспокоится и не выйдет из своего схрона. А это недели две, не меньше, и если охота уже началась, то стан опоздает, задержится, не успеет подготовиться к следующей зиме. Ну, то есть успеет, но на пределе, впихивая ежедневно, впрягая стариков и детей.

Всё в порядке. Тут холодно и сухо. Фонарь Тыкулчи горит ярко, кажется даже, что тепло, хотя на самом деле зима уже пробирается внутрь, но это зима такая, ненастоящая, преследуемая весной. Ещё пару месяцев назад в третьей камере было нельзя дышать — вдохнёшь, и всё, нет у тебя лёгких, кровь выпархивает и падает на землю льдинками или на бороде оседает. Забудешь тут вещь — пиши пропало, через час нет её, только видимость одна. Старик один как-то очки забыл, стальные дужки, шлифованные линзы, потом взял, а они и рассыпались прямо под рукой, как будто из песка, только белого. А если наружная дверь плохо законопачена, то и вовсе можно в Стекло превратиться, и только смотреть тогда остаётся, дотрагиваться нельзя, потому что кто коснётся Стекла, тот Стеклом станет. Что зимой, что весной к Стеклу — ни-ни.

Тыкулча звенит кошками, выволакивая снаряжение во внешний шлюз, и запаковывает третью дверь — так же, как и вторую, аккуратно, методично, не торопясь, а то не сделаешь как надо, возвращаться будет некуда. Щёки

Тыкулчи уже смазаны жиром, меха топорщатся, только верхонки расстѣгнуты, потому что работать в них нельзя, они не гнутся. Он вдыхает полной грудью — как он соскучился по этому холоду, по этому воздуху — настоящему, не пропитанному очажной гарью. Снаружи так вдохнуть не получится — зима ещё до конца не ушла, поэтому надо надышаться здесь.

Наконец он открывает внешнюю дверь — с трудом, вырывая из проёма. За ней — белая стена слезавшегося снега, бесконечность вверх, и потом — тепло; когда бы не было снега, зимой бы не выжить, никакие тамбуры, никакие шлюзы, всё тлен перед Стеклом. Тыкулча протягивает руку и вытаскивает из-за верхней части проёма деревянную рукоять, что-то вроде рычага. Он повисает на нём, как на турнике, раздаётся скрип, и рычаг идёт вниз — сперва медленно, а затем быстрее и быстрее, трётся дерево о дерево, перемещаются какие-то детали, что-то визжит и шуршит, и внезапно белая стена превращается в рыхлое месиво — а потом обваливается куда-то, будто Тыкулча едет в лифте, движущемся мимо неё наверх. Он дотягивает рычаг до самого порога, разгибается и делает шаг вперёд, в белоснежное ничто. Весь снежный покров перед дверью обвалился в заготовленную заранее яму: механизм открыл её, сдвинув люк и вонзив в наст дробящие колья, а затем накрыл этим же люком сверху. Справа от выхода приторочена лестница. Тыкулча берёт её, приставляет к стене снежной комнаты и поднимается наверх. Внешнюю дверь он просто прикрывает, не заштамповывая.

Март, солнца нет, но облака белые, светлые, вокруг нестерпимо ярко. Борода мгновенно покрывается инеем, иней превращается в ледышки, ресницы и брови белеют, дыхание цокает о наст, застывая в воздухе. Тыкулча

надевает очки — по-хорошему, без них и выходить-то нельзя, но он любит сначала посмотреть на белизну, подслепнуть, попривыкнуть и только потом затемнить мир вокруг. Он улыбается, смотрит на стан, на тёмные вешки, обозначающие, где под снежным покровом прячутся жилища, и на узкую иглу смотровой башни. Староста поднимется на неё позже, по возвращении Тыкулчи, чтобы обозначить начало охоты.

Тыкулча идёт по снегу, хрусть-хрусть, он никогда и ни за что не обменяет это ощущение на бесконечное лето, даже если явится некто ответственный за мир и предложит ему, Тыкулче, бартер. Он спускается к первому стоку — снежный покров постепенно снижается, Тыкулча врезается кошками в наст и аккуратно добирается до скалы, чёрная поверхность которой — единственное здесь, что не снег, не лёд, не Стекло. Тыкулча дотрагивается до камня, потом стягивает обе перчатки — и верхонку, и внутреннюю, и касается тьмы ещё раз — руку прожигает, но он знает, сколько можно держать, сколько нельзя. Дети часто обжигаются весной — в основном о камни, хотя бывает, что и о сталь, если кто-то догадается оставить предметы обихода снаружи.

В скале отверстие — едва заметное, выдолбленная вертикальная трубка, кто не знает, никогда не найдёт. Тыкулча достаёт из кармана скатку пеллетов, крошечную, с детский кулачок, и огниво. Высекает искру, поджигает пеллеты — те загораются сразу, они пропитаны смолой, заготовлены. Он бросает горящий комок в отверстие, отбивает огонь с перчатки о куртку. Проходит десять секунд, двадцать, тридцать — и из отверстия бьёт факел, всё в порядке, ничего не слежалось, не смёрзлось, не намокло, огонь есть жизнь, и в то же время огонь ест жизнь, он горит где-то

внизу, чадит чуть-чуть, потому что смола, а Тыкулча уже бредёт к другому концу стана, к следующему стоку.

Всего стоков пять, у каждого — по огню. Пока Тыкулча будет идти к первому схрону, огни подтопят снежный покров снизу, сожрут его на пару человеческих ростов, не меньше, а остальное нетрудно и лопатами разнять, разнести, и через неделю стан освободится. Тепло — это ещё и сигнал для становых, если пошло, то разведчик проснулся и всё правильно сделал, от первого тепла нужно отсчитать три дня — и можно выходить.

Он обходит стоки за час. Уже устал, и до ночи три часа всего, но нужно сегодня дойти до первого схрона — он близко, в часе всего, если быстро идти, и вот тут не каждый выдержит, кто угодно сдуется, вернётся, скажет себе: завтра утром выйду, хватит пока. Но нельзя, нельзя, Тыкулча каждый год продирается через это нежелание, выталкивает его из себя, прочь, прочь.

Вот он готов. Солнце высоко, хотя его и не видно, просто белое небо, бесконечная пустота. Тыкулча обвешан снаряжением, провизией — идти семь дней, день — схрон — день — схрон, и так до восьмого. Оттуда ещё час до Стеклянного Великана, и там — посчитать ветви, сколько очистилось уже, если за десять, так и весна уже, можно идти обратно, охота хорошая будет. Если меньше, надо дожидаться, сколько дней ещё, пять, семь, девять. Но Тыкулча ждал только в свою первую разведку, двадцать уж зим тому, а нынче он опытный и всегда попадает точь-в-точь.

Он идёт. Хрустит под ногами наст, морозный воздух ест кожу, хотя Тыкулча замотан сверху донизу, шарф закрывает щёки, на глазах очки с мехом, мембрана, мех, мембрана, мех, слой за слоем защищают тело, щёки намазаны жиром, унты разношенные, удобные, греют ноги так, будто в них

разведен огонь. Позади пылают камни, из стоков появляются первые капли, снежный покров постепенно расплывается, и к возвращению Тыкулчу встретят галдящие дети, черпая воду из проталин и с хохотом поливая друг друга.

Пейзаж-то какой, смотри — не насмотришься, да откуда ты и слово такое знаешь, «пейзаж», его произнести сложно, а пришло же откуда-то в язык, доползло с юга и осталось тут навсегда. Белизна вокруг, белизна, что вверху, что внизу, и даже полоска горизонта порой становится невидимой, сливая небо и землю воедино. Тыкулча знает все вешки, все ориентиры, все меточки, никогда он не заблудится; иному покажется, что нет ничего, помимо этого белого, но разведчик знает, куда смотреть, вот веточка, да не веточка, а каменный отросток, он всегда из-под снега тут торчит, а вот провал в снежной равнине — там вода внизу, подтаивать уже начало и просело.

А вот стеклянная статуя. Это старик Адиуль ушёл в зиму — давно уж, Тыкулча ещё ребёнком был. Помнит, как Адиуль прощался, как обнимал каждого станового, как плакала его дочь, и как Адиуль пошёл прочь. Стояла уж поздняя осень, и до ночи оставалось всего полтора часа, докуда Адиуль дошёл, там и встал навсегда, указывая морщинистым пальцем в верном направлении. Он-то знал, куда указывать, даром что сорок лет был разведчиком, понимал, где провал в вешках, где не хватает, и встал там — на камне, чтобы не уйти в снег. Тыкулча, как доходит до Адиуля, каждый раз даёт ему что-нибудь, аккуратно, чтобы не прикоснуться к Стеклу. Вешает амулет на руку, или витую нить на шею, или даже как-то лапшой угостил, оставив её в другой руке, которая вниз указывает. А когда возвращаешься — нет уже ничего, или Стеклом стало, или ветром смело, поди пойми.

Первый схрон совсем близко, потому что знали, что разведчик ещё должен успеть стоки растопить. Дотуда даже старики порой доползали — так, на белое посмотреть, посидеть в тишине, чтобы никто не бегал, не галдел, не просил ничего. Иногда женщины детей приводили — показать, что там, на севере, откуда зима приходит. Но не сейчас — сейчас Тыкулча тут один, и никого тут больше быть не может, вся эта необъятная пустота, вся эта бесконечность — его личная, ничья больше, и так хочется сорвать маску и задышать, задышать, во всё горло впуская инистый воздух, что невмоготу. Тыкулча чертыхается — тихо и с улыбкой, потому что это такая любовь, такая красота, какой никто, кроме разведчика, не чувствует.

Полтора часа ходу — до ночи далеко, и Тыкулча уже у схрона. Тот обозначен башенкой, вот уж что крепкое и неизменное. Схрон — не вешка, сориентироваться можно и по небу, и по свету, и по запаху, а коли схрон потеряешь, так уже не сердчай, а встань в позу, чтобы самому вешкой быть для последующих. Тыкулча копается у башенки и через несколько минут находит рукоять — такую, какая и дома была, только теперь её вверх надо тянуть, встав сбоку. Снег проваливается в образовавшуюся яму, освобождаются стена и дверь — маленькая, Тыкулче едва ли по плечо, не выше.

Тыкулча легко спускается, даже почти съезжает в яму, её чуть приваливает снегом с края. Замка нет, но дверь законопачена, залита смолой, закрыта намертво, без доброго ножа никак не вскрыешь. Тыкулча трудится — разрезает смолы, раздирает мхи, вырывает куски какого-то непонятного дёрна — что это вообще, неужели это я закрывал? А, да, это медвежья шкура, точно, вот какие-то обрывки меха, зачем я это сделал, под конец лета всегда мозги



поотшибает, хорошо хоть дерьмом не догадался закрепить. А то было и такое, держит крепко, промерзает, только вот по весне в схроне жить невозможно, где-то какие-то остатки попадают, и воняет так, что в округе зверидохнут. Он рвёт дверь на себя, открывает, пробирается в первую камеру, зажигает фонарь. Это обратный порядок: в начале осени ты закрываешь сперва схроны снаружи, а затем уж дверь дома — изнутри; весной открываешь дверь дома, а потом — схроны. По сути одно и то же, и если закрыть глаза, то можно представить, что это не весна, а осень, и зима надвигается, у тебя в руках тот же самый мох, верхонки измараны смолой, только зачем, зачем такое представлять — нужно жить тем, что есть, и радоваться тому, что можно выйти, и вдохнуть, и не стать Стеклом.

Тыкулча проходит вторую дверь и третью — и вот он в схроне. Это не стан, тут комната всего одна, маленькая, с двумя скамьями, столом, стулом и полками, на которых — запасы: еда, вода, топливо, охотничьи принадлежности, одеяла, всё самое необходимое. Первым делом надо протопить: Тыкулча подносит огниво к трубке у печи, цокает раз, другой, и вот по трубке уже идёт огонь, и резко вспыхивают заготовленные ещё с зимы пеллеты, сразу, буквально в секунду, расходится по схрону жар, а Тыкулча тем временем запечатывает двери, от внешней к внутренней, тщательно, аккуратно, почти что как на зиму, только без смолы, потому что воздух уже живой, даже ночью Стеклом за секунду не станешь, а пока до схрана доберётся, и вовсе согреется так, что им дышать и можно, и приятно. Как двери закрыты, огонь горит, Тыкулча раздевается, разоблачается, стягивает верхонки, хокуй, унты, под хокуем термо-мембрана, он расстёгивает её, но не снимает, замёрзнешь ночью, даже при огне будет облачко пара изо рта, холодно

пока, холодно. Берёт сушёное мясо, чай, ягоды, олений мох, вешает котелок, строгаёт туда всё подряд, подогривает, не варит, схрон наполняется запахом еды, жизнью.

Тыкулча ест немного, живот не набьёшь — и нечем, и незачем, завтра идти дальше, четыре часа до второго схрона, каждый последующий дальше предыдущего, хотя нет, после пятого они уже на равных расстояниях, так разметили отцы. После еды надо завернуться во все слои, какие есть, и лечь у огня, и заснуть так, чтобы не просыпаться ночью, потому что проснёшься в холоде, заснуть труднее будет, а огонь не спасёт, он с пуза согреет, а со спины дубар будет, окочуриться впору, так что кутайся, кутайся, Тыкулча, да что тебе говорить, ты и сам знаешь. И он кутается, запаковывается, как будто он и есть дверь, и щели законопачивает, и ложится лицом к огню на бок, и через несколько минут уже спит.

Разведчик — не просто смелый и умелый, в стане все смелые и умелые. Разведчик должен быть странным, любить одиночество, чтобы никто ему не был нужен, чтобы он мог ни о чём не думать, чтобы он со скуки не помер, по две трети дня в схронах сидя. Тут нужен особый склад ума иметь.

И Тыкулча спит — он не видит никаких снов, он уже давно не видит никаких снов, с той поры ещё, как был женат, а было это тридцать с лишним лет назад, у него тогда был сын, которого он видел всего несколько раз, но это другая, конечно, история, просто во сне сын, этот вечный младенец, мог бы приходиться к нему, мог бы укоризненно смотреть в блеклые отцовские глаза — но тут Тыкулче повезло. Ничто не мучит его, никто не трогает его снов, ни мать, умершая, когда он был ребёнком, ни жена, ушедшая вместе с сыном, ни те, кто надеялся на него, а он их подвёл.

Много лет назад, когда Тыкулча только начал ходить в разведку, он нашёл в третьем схроне живого. Кто знает, как он продержался — законопатил все двери, залёг там и пролежал все месяцы на одном месте, не вставая даже для того, чтобы сходить в туалет — испражнения и моча грели, еды едва хватало, но хватало, и он выжил, пусть и сошёл с ума. Тыкулча отволок его в стан (потеряв на этом два дня), и там его выходили, только дар речи он потерял, всё бродил по стану, мыкая, бекая, а потом, следующей зимой, ушёл в никуда и пропал, стал Стеклом где-то в неизвестности, не принеся никому пользы. Откуда был тот человек, кто он, как добрался до схрона, так и не выяснили — но Тыкулча понимал одно: человек пришёл в схрон поздней осенью, когда ещё можно было прийти, значит, задержись Тыкулча — а разведчик последним возвращался в стан — на день, на два, он мог бы спасти его от безумия. Ему не было жалко человека, просто он сознавал, что не сделал того, что мог бы сделать.

Этот человек, имени ему так никто и не дал, тоже не приходит к Тыкулче во сне. Хорошо спать и видеть тьму или ничего не видеть — такой сон в какой-то мере репетиция смерти, а значит, и умирать будет легко, всё равно придётся, рано или поздно, лечь в снег или встать с вытянутой рукой в зимнем мареве и обратиться в Стекло, в Стекло.

Он просыпается в самое правильное время: огонь горит, но в схроне — дальше, чем метр от огня — прохладно, нет, не холодно, а именно прохладно, и Тыкулча чуть-чуть улыбается: всё хорошо, он не ошибся, в который уж раз, весна близко, а то и уже здесь, надвигается, наползает. Он отходит по надобностям, потом разогревает еду, ест, собирает, распаковывает двери, проходит два шлюза и выползает наружу. Всё, как вчера, только здесь, у первого

схрона, на севере, точно так же холодно, как вчера было у стана, а значит — у стана уже теплее, движется, движется мир к весне. Скоро и ночью можно будет выходить, не опасаясь стать Стеклом. Но пока он идёт днём, идёт от схрона к схрону, по четыре-пять-шесть часов, и эти шесть уже — риск, потому что чуть замешкаешься, и опустится ночь, и холод, и воздух охватит тебя, замкнёт, обездвижит, обесцветит, будь Стеклом, милый мальчик, ты так весел, будь Стеклом. Откуда, откуда Тыкулча помнит эти строки, так светла твоя улыбка, это из детского стишка, который рассказывал ему то ли отец, то ли дядя, они оба путаются в голове, остался только второй, Аксик, высокий и сердитый. Стишок ритмично тренькает в голове, пока Тыкулча идёт по насту, ты не знаешь, ты не знаешь, дальше что-то там про скрипку, хотя он никогда не видел скрипку и представить себе не может, что это такое, возможно, что-то похожее на пургипкавун или билгау, в общем, неважно, музыкальный инструмент.

Тыкулча идёт, идёт, идёт, приходит ко второму схрону, распечатывает, запечатывает, ест, ночует, ест, распечатывает, запечатывает, идёт к третьему схрону, распечатывает, запечатывает, ест, ночует, ест, распечатывает — и так четвёртый, пятый, шестой, Господи, если ты есть, как ты терпишь это однообразие, седьмой, восьмой — это восемь дней пути, и каждый раз Тыкулча боится одного: он пришёл слишком рано. Ты приходишь к схрону и не знаешь, хватит ли весны для того, чтобы пережить ночь; ты ложишься спать, будучи уверенным в том, что завтра ты не проснёшься, что ты станешь Стеклом — но когда просыпаешься, ты радуешься этому чуду.

Восьмой схрон большой — он как перевалочная база для охотников. Когда-нибудь Стекло захватит всё, и тогда

охота закончится, и закончится стан, надо будет искать новые места, но пока достаточно живности, выходящей по весне наружу и ждущей своей стрелы или пули. Тыкулча сидит в схроне, жуёт разогретую вяленку, похожую на подошву, но почему-то удивительно вкусную, сам заготавливал, наверное, а может, и кто другой, все тут хороши, все тут умеют. В восьмом схроне есть чудо, которого нет в других,— окно: маленькое, узкое, низкое, под самым потолком, если встать на цыпочки — заглянешь. Там три слоя стекла — самого обычного, редкость тут,— всё прозрачно, Тыкулча, прежде чем в схрон спускаться, почистил, и видна белая равнина и чёрные лесные головы, недвижные в безветрие. Тыкулча смотрит в окно в надежде на движение, авось кто появится, песец какой или птица, но понимает сам, что вряд ли, рано ещё, через недельку, не раньше, а пока они в своих схронах сидят, не высовываются. Бывало, заячьи схроны по весне откапывали — то-то радость была, и охотиться не надо, бери сонных за уши и волоки в стан, живых ещё, тёплых. Но это редко, только случайно получается — далеко от схрона не уйдёшь, а зайцы мало ли где прячутся, в стороне от тропы, в бесконечной белизне.

Там, на Стеклянном Великане, написано у самых корней имя. Когда Тыкулча его писал, Великан не был стеклянным, был деревянным, и Тыкулча — тогда ещё тоже вовсе не Тыкулча — продирает его жёсткую ребристую кору маленьким ножом, чтобы оставить навсегда, не забыть. Каждый охотник оставляет своё первое имя позади, у мамки в хате, в молочных берегах, и имя это — детское, грустное, смешное — в то же время самое важное, сокровенное, никто его не знает, кроме родителей и самого охотника. А потом охотник забывает его, и чтобы не потерялось, надо оставить его ещё кому-то — сове или лисице, нерпе или волку,

скале или вот дереву, чтобы то помнило, знало,— родители умрут, охотник умрёт, дети его умрут, внуки его умрут, а волк будет помнить, или дерево, или камень, или нерпа. Старое имя Тыкулчи давно стало Стеклом, ушло в снег, скрылось из виду, и только он знал — оно там, там, никуда не делось, первое его имя, забытое в день, когда родился его первенец. С этими мыслями он засыпает и спит без сновидений, только трещат пеллеты, только прячется за окном солнце, погружая мир в белую тьму.

Утром Тыкулча просыпается, ест и выходит наружу. Он ненадолго, всего на час, законопачивать шлюзы нет смысла, так — закрывает едва-едва, чтобы живность никакая не проникла. Было дело, лисица в схрон пробралась, когда Тыкулча не видел, не в этот схрон, в третий, и как через несколько дней Тыкулча вернулся, всё внутри было перевёрнуто, сожрано, загажено, а лисица, свернувшись клубком, грелась прямо в печи, там угольки могли несколько недель не гаснуть. Лисицу он убил, но порядок потом два дня наводил, время потерял.

Сейчас он всё правильно делает, дверь закрывает, выходит. Воздух холодный, марево белое, час ходьбы до Стеклянного Великана. Тыкулча идёт механически, каждый год одно и то же, каждый день одно и то же, ничего не меняется в белизне, потому что белизна превыше всех цветов, нет и не надо ничего больше. Хрум, хрум, хрустят под ногами льдинки, снег, но Тыкулча помнит, что когда-то тут ещё был чёрный, сухой кустарник, умеющий дать бой Стеклу. Как тот выживал, почему? — он тысячу раз задавал себе этот вопрос, но не мог найти ответа. Все прячутся от зимы, скрываются под землёй и снегом, изолируют свой крошечный мирок от большого мира, и лишь чёрная поросль как будто ничего не чувствовала, как будто дышала